



С. Л. ФРАНК

Религиозное сознание Гоголя

Русский новеллист и комедиограф Николай Гоголь, 125 день рождения которого отмечается в этом году, считается основателем великой русской прозы XIX века. Уже с появлением его первых юношеских произведений, сборника полных юмора рассказов из украинской народной жизни, он приобрел репутацию большого писателя. В последующих, более серьезных рассказах, и особенно в двух шедеврах — комедии «Ревизор» и эпически построенном сатирическом романе «Мертвые души», — получил дальнейшее развитие его гениальный дар — остро и с глубочайшей правдивостью схватывать банальное и пошлое в жизни. Благодаря его большой наблюдательности и смелому натурализму, в его произведениях в резко сатирическом отражении как будто появилось подлинное лицо России. «Боже, как грустна наша Россия» — воскликнул Пушкин, когда Гоголь прочитал ему отрывки из «Мертвых душ». Эта оценка великого русского поэта послужила мериллом для суждений о художественных творениях Гоголя вплоть до конца XIX века. Гоголя воспринимали и приветствовали как великого реалиста и сатирика; если в близких Гоголю славянофильских кругах радовались народности его типов, то радикальные западники чествовали в нем социального критика, который, по его собственным словам, заметил «сквозь видный миру смех неведомые незримые миру слезы» и — как они думали, обличал нищету русской жизни, несправедливость и развращенность существующего порядка.

Велико было поэтому всеобщее изумление, когда Гоголь в 1846 году опубликовал необычайную книгу «Выбранные места

из переписки с друзьями», в которой он отрекался от всех характерных особенностей своего художественного творчества и предстал верующим христианином, пастырем и нравственным проповедником. Представители всех крайних движений единодушно отвергли эту книгу как необъяснимое заблуждение великого художника. Радикальный, социалистически настроенный литературный критик В. Г. Белинский, который раньше прославлял Гоголя как великого художника, в частном письме к нему восстал с пламенным протестом против этой фальсификации настоящей цели русской жизни, почувствовав в книге «реакционный мистицизм» (письмо В. Г. Белинского стало своеобразным «символом веры» радикальных русских интеллектуалов). Умеренный Тургенев писал об этой книге несколькими годами позднее: «противная смесь гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона, подобного чему мы не знаем по всей литературе». Даже славянофильски настроенные друзья Гоголя пожимали плечами и грустно покачивали головой. Дальнейшие события, казалось, подтверждали этот приговор. Художественное его творчество иссякало, его религиозное обращение не принесло душевного спокойствия, он впал в мрачную меланхолию, сжег свои неопубликованные книги (среди них второй том «Мертвых душ») и вскоре скончался в 1852 году от болезни, до сих пор непонятной, но несомненно связанной с его душевной депрессией.

Только поколению конца XIX века в совершенно новой ситуации, более благоприятной для познания духовной реальности, удалось глубокое проникновение в жизнь души и художественного творчества Гоголя. Розанов, Мережковский, Брюсов первыми предложили правильное понимание характера Гоголя и его искусства. Они обратили внимание на многие примечательные черты редкостного религиозно-метафизического ощущения жизни уже в художественных произведениях Гоголя. В общепризнанном реалистическом обличителе нравов с самого начала обнаружился мистически одаренный дух, который в своих изображениях жизни выражал не внешнюю реальность, а свою собственную внутреннюю тревогу; сатирические образы оказывались порождением его мучительно-болезненной фантазии. Что при этом они могли считаться верными правде, реалистическими портретами говорило во всяком случае не только о гениальной художественной, но и общей одаренности, посредством которой

субъективные переживания тогда же становятся источником откровения самой реальности. Только в данном случае — как и позднее у Достоевского — речь идет не об эмпирической, а о метафизической реальности.

После того, как была найдена правильная точка зрения, опираясь на произведения и письма Гоголя, стало легче понять истинную сущность его личности и творчества. Дух Гоголя изначально несет в себе общие душевные склонности его украинского происхождения — смесь живого юмора с меланхолией и тоской. Гоголь признавался, что веселость его первых произведений вызывалась потребностью развеять комическими образами фантазии внезапные приступы меланхолии. Но при этом его личную сущность отличало замечательно острое врожденное чувство присутствия в первосущности мирового бытия демонического — равно ужасного, как и пошлого и злого. Так душа Гоголя избавлялась от панического страха; его главным мистическим переживанием был кьеркегоровский «страх и трепет». В середине трогательного, любовно написанного рассказа о мирной идиллической жизни старой супружеской пары («Старосветские помещики» в сборнике «Миргород») мы внезапно встречаемся с авторским признанием в паническом страхе, который он испытал еще в детстве, когда посреди глубокого одиночества при светлом, ясном, солнечном дне внезапно услышал за собой таинственный голос, который звал его по имени. «Признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня». Точно также неожиданным ужасом отмечен рассказ о кончине этой мирной супружеской пары: жена умирает без видимой причины, после того, как она в появлении пропавшей кошки усмотрела пророческий знак своей близкой кончины, и ее супруг превращается в неряшливого идиота. Примечательно также постоянное — то комическое, чаще мрачно-таинственное, появление черта уже в первых беспечных новеллах Гоголя. Можно видеть в этом подражание очень любимому тогда в России Гофману; но при более глубоком рассмотрении здесь обнаруживается скорее внутреннее родство, чем внешнее подражание: слова, которыми Гейне определял сущность произведений Э. Т. А. Гофмана: «крик ужаса в двенадцати томах», вполне относятся к творчеству Гоголя. Присутствие черта легко обнаруживается даже там, где он не выступает

зримо. Мережковский удачно замечает, что в обоих главных произведениях Гоголя два центральных образа — довольного, мещански-порядочного афериста Чичикова в «Мертвых душах» и мечтательного вралю и мошенника, порхающего над реальностью, якобы «ревизора» Хлестакова — можно считать двумя полярно-противоположными типичными воплощениями черта. Само действие в этих двух произведениях покоится на некоторого рода необъяснимом помешательстве умов, бесовском наваждении, благодаря которому разумные и житейские опытные люди вынуждены принимать видимость и фальшь за действительность. Имея в виду эту особенность творчества Гоголя, не приходится удивляться крику ужаса, прозвучавшему в его «Переписке»: «Соотечественники! Страшно ...Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...»

С этим метафизическим чувством страха соединяется у Гоголя меланхолия, которая выражается в постоянном, вяжущем чувства ощущении страха, скуки жизни, покинутости и беспредметной тоски. Уже его первая новелла, задорно сумасбродная история о «Сорочинской ярмарке», заканчивается мастерским изображением меланхолического настроения. После того, как утихли шум ярмарки, музыка и крестьянские танцы слышатся легкие тона одинокой скрипки, отзвучавшие в тишине; для автора они становятся символом мимолетности всех жизненных радостей и необходимо следующих за ними печалью и оставленностью. Комическая история о двух друзьях-соседах из Миргорода, от скуки и праздности поссорившихся из-за пустяковой причины и в ожесточенной тяжбе растративших свое состояние и здоровье, заканчивается описанием отъезда автора из городишка после посещения постаревших и поседевших друзей: «Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвета небо. — Скучно на этом свете, господа!»

Страшное, рвущее сердце и дурмящее действие демонического заключается для Гоголя именно в скуке, затхлости и пустоте жизни. В своих произведениях он представляет нам целую галерею

рею типов, все новые вариации глупых, тщеславных, корыстных и лживых людей, негодяев под маской порядочных обывателей. Название его главного произведения «Мертвые души», в прямом смысле обозначающее умерших крепостных, которыми торгует проходимец Чичиков, выдавая их за живых, в то время имеет символический смысл. Повсюду в мире Гоголь видит мертвые, духовно опустошенные души, внутренне уничтоженные злом. Именно поэтому зло, которое является, по Гоголю, принципом небытия, лжи, иллюзии и ничтожества, не обладает какой-либо чарующей, титанической силой, а как раз воплощается в низменности повседневно-пошлого и мещанстве. «Я все называю своими именами, — сказал он однажды, — черта я зову чертом и знаю, что он разгуливает по свету в сюртуке». О своей комедии «Ревизор» Гоголь заметил, что его художественная цель состояла в том, чтобы изобразить мировую власть пошлости в тесных границах общества одного маленького провинциального города в России.

После сказанного можно не сомневаться, что эта мрачная, скучная картина мира, в котором господствует зло в образе обыденно-пошлого, вырастает из внутренней установки Гоголя (о чем, впрочем, он сам всегда говорил). Вокруг себя он видит мертвые души, потому что смотрел на мир глазами, полными тоски. При всякой попытке изобразить эстетически и нравственно прекрасное, возвышенное и благородное, он становился риторичен, и его искусство теряло свою убеждающую силу. Известные границы гоголевского творчества находятся здесь.

Но, с другой стороны, было совершенно неверно принимать мрачную гоголевскую картину мира за сугубо субъективный образ болезненного духа Гоголя и на этом основании объявить ее не имеющей объективной значимости. Напротив, к творчеству Гоголя вполне применимо глубокомысленное замечание Достоевского о том, что совершенно необоснованным предрассудком является мысль, будто бы познать истину могут только здоровые люди, а душевнобольные имеют дело с субъективными образами фантазии; как раз больные могут обладать особенно острыми способностями к восприятию мира, отсутствующими у здоровых людей: фактически благодаря болезненной склонности своего духа Гоголю удаются и важнейшие всеобщие религиозные знания, и в особенности пронизательный и очень значительный взгляд на истинную сущность его среды и его надломленного века.

Возможно, осуждение современниками «Переписки с друзьями» было относительно справедливым — у Гоголя не было признания пастыря и проповедника; в этом чувствуется что-то искусственное. Однако это произведение очень сильно действует на любого религиозно восприимчивого человека. Но прежде всего «Переписка» — как и вообще судьба Гоголя — является потрясающим документом глубокого подлинно русского трагического религиозного стремления. Желание добра и спасения пробуждено здесь вдруг с такой первоначальной силой, что и весь мир, и искусство уже теряют всякий смысл и ценность. Характерным для этой установки Гоголя является то, что все написанное им, включая и его раннее художественное творчество, он оценивает и рассматривает с точки зрения «пользы» для Родины и мира. Можно догадаться о трагедии большого, Богом призванного художника, который внезапным религиозным обращением принужден к такому душевному конфликту. Другой, быть может, еще более значительный русский писатель, которому как художнику было дано любовно понять и изобразить красоту всей природы и человеческой души — Лев Толстой — полустолетием позже, из глубокой потребности исцеления души, пережил ту же самую потрясающую трагедию отказа от искусства и красоты, тот же самый поворот к ограниченному религиозному морализму. Как не односторонняя и неудовлетворительна эта установка Гоголя и Толстого, она все же замечательным образом свидетельствует о стремлении русского духа к последней полноте, ко вселенскому духовному совершенству. Художественное и эстетическое как таковое отвергается, потому что они легко уведут человеческий дух в чисто идеальную сферу, отделенную от реальной жизни и потому отвлекают его от великой задачи подлинного, реального *просветления мира* и его *спасения* — единственного, что нужно делать. Гоголь первым выразил типично религиозную установку русского духа на искусство. Оно всегда является или должно быть больше чем «чистое искусство», а именно — функцией или орудием стремления к святости. Он первым заметил пророческую черту подлинно русского лиризма, глубочайшая сущность которого заключается в стремлении к Богу.

Несмотря на свое безграничное почитание Пушкина, великого и единственного «чистого поэта» России, он предчувствует новый стиль и смысл русской поэзии: «Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском че-

ловеке, внесет в самые огрубелые души святыню...» Этими словами предсказывается появление *Достоевского*.

Но помимо проблем искусства в этой замечательной книге местами содержится глубокая и подлинно христианская мудрость и пламенная исповедь истинно христианского понимания жизни, исходящая из глубин религиозного переживания. В этом отношении у Гоголя, разумеется, были предшественники в кругу его друзей славянофилов. Но большое различие между ним и славянофилами состояло в том, что последние, идеализируя народные традиции русской жизни, оптимистически видели в них совершенно адекватное выражение русской религиозной веры, тогда как Гоголь, напротив, с раздраженной резкостью отмечал противоречие между фактическим образом жизни и христианской верой и поэтому призывал к религиозному обновлению. Гоголь выдвинул идеал, который только теперь, после русской катастрофы, начинает оказывать действие в религиозно настроенных русских душах: это идеал «оцерковления жизни». Он резко отвергает широко распространенное среди образованных людей требование реформировать церковь, приспособлявая ее к современному образованию: «они говорят, что Церковь наша безжизненна; они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь». Но одновременно он понимает причину этого ошибочного представления: «ложь свою они вывели логически, вывели правильным выводом: *мы трупы*, а не Церковь наша, и *по нас* они назвали и Церковь нашу трупом». «Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. *Мы должны быть Церковь* наша... Наша совесть ясно нам говорит, что мы прошли мимо нашей Церкви и больше не знаем ее. Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но и не знаем даже, где положили его... Только и возможна для нас *одна* пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь; благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину».

Чувствуется, что в Гоголе пробудилось сознание необычно великой исторической и религиозной задачи; речь идет ни о чем другом, как о внутреннем обновлении всего современного светского образа жизни и образования, которые возникли вне христианской жизни и в противоположность ей. Эта великая задача, поставленная перед всем христианством, особенно актуальное значение имеет для русской жизни. Ибо в удивительном противоречии со стремлением

русской души к религиозному просветлению мира русская церковь до сих пор остается — по историческим причинам, которые мы здесь не исследовали ближе — в состоянии потенциальности, как неизмеримое, свято хранимое сокровище, которому еще не было найдено достойного плодотворного применения. В этом заключаются также глубокие причины поражения России в большевизме: неудовлетворенная потребность в истинно христианском обновлении жизни была вытеснена ложным, ведущим к гибели путем *антирелигиозного* обновления.

С самого начала ясно, что совершенное понимание и исполнение этой всемирно-исторической задачи не по силам отдельному человеку. Уже поэтому можно думать, что Гоголь часто ошибался при более точном развитии этих мыслей. Кроме того, мы уже знаем, что истинно значимое в религиозном духе Гоголя лежит не в области положительного строительства. Напротив, предпочтительно негативное, а именно сознание глубокой пропасти, зияющей между действительностью и идеалом, является тем, что он действительно остро видел и выражал, и что сохраняет в его наблюдениях большую и постоянную ценность. Его художественно-духовная самобытность, которая вынуждала его замечать вообще в жизни демоническое, зверино-карикатурное и вульгарное, открыла ему глаза на таинственную власть, которая проникает в жизнь европейского человечества и сделала его способным к замечательной, — можно даже прямо сказать, пророческой — интуиции истории. Точными словами он определяет незримую демонию, скрытую в мировоззрении либерального просвещения и первых опытах гуманитарного социализма. Почти одновременно со старым Гете, который видел, что «приходит время, когда Бог уже не испытывает радости от людей, и все должно быть разбито для нового создания», Гоголь произносит свое жуткое предсказание: «В Европе заваривается теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, перед которыми наше нынешнее чувство страха есть лишь только тихое предчувствие». Гоголем овладело ощущение неуверенности, неустойчивости жизни европейцев (включая и Россию): «Все более, чем когда-либо прежде, чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищут, все стремятся куда-то вперед». За всеми политическими и социальными стремлениями, которые выбили мир из старой колеи, Гоголь видит духовные искания, «необъяснимую тоску».

Кажется, внешне эта всеобщая тоска человечества выглядит близкой стремлению к христианским идеалам. Рассматривая русский обычай встречать на Пасху всех знакомых братским поцелуем, Гоголь замечает, что можно думать, будто этот день наиболее близок сердцу нашего столетия с его великодушными и человеколюбивыми мечтами о всеобщем счастье, о братском примирении всех людей и внутреннем достоинстве человека. Но выражение христианского братства в пасхальный день и на Западе и в России осталось пустой формой, что непререкаемо свидетельствует, как бессодержательно и неискренне предполагаемое христианское устремление нашего века. Современный человек готов заключить в объятия все человечество, но не своего ближнего. «Есть страшное препятствие, непреодолимое препятствие для подлинно христианского празднования этого дня и имя ему — гордость». Весьма тонко Гоголь замечает, что раньше человеческая гордость выступала только по-детски непродуманным чувством, гордостью физической силой, богатством, знатностью. Напротив, в наше время гордость впервые осознанно выступила в своей истинной сущности как духовная сила. Наиболее яркое выражение этой духовной силы Гоголь находит в том, что он называет гордостью разума. Современный человек сомневается во всем, но не в своем разуме. Более того, не так сильно идет борьба за существенные права и преимущества, как борьба противоположных мнений; не чувственные страсти, а страсти разума, как они выразились в партийной ненависти, господствуют в мире. Наибольшая смута идет не от глупых людей, а, напротив, от умных, которые излишне полагаются на свою силу и разум. Гоголь отмечает один потрясший его факт: как раз, когда могло показаться, что посредством нравственного и интеллектуального образования человеческая ненависть будет вытеснена из мира, зло снова приходит в мир через другую дверь, по другой дороге, дороге разума. Зло в форме партийного фанатизма, подобно страшной стае саранчи, на крыльях газетных листков настигает человечество. Разум становится модным и как мода господствует затем над самим разумом: даже по-настоящему умные люди, повинаясь партийным шаблонам, начинают выступать против своих собственных взглядов, только бы не уступать вражеской партии. Темные, никому неизвестные личности правят мыслями умных людей, и газетный листок, всем известный своей лживостью, становится нечувствительным законодателем человека, его не уважающего.

Никто не боится ежедневно преступать первые и священные заповеди Христа, но каждый, как робкий мальчишка, дрожит перед модой. Божьи посланники стоят молча в стороне, в мире господствуют создатели моды. Мир видит темную силу, вздымающуюся снизу, но как зачарованный, не восстает на нее. В этом триумфе демонию заключается страшная издевка над человечеством, мечтающем о прогрессе. Именно поэтому «непонятной тоской уже загорелась земля: черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо. Могила повсюду. Боже, пусто и мрачно становится в Твоем мире».

Гоголю было дано постигнуть действительно глубокое понимание трагедии и умственную сумятицу наступающего века. Содрогаюсь, как на краю пропасти, чувствовал он всем своим сердцем, что век, который отвернулся от Бога и хочет опереться только на человеческую гордыню движется к катастрофе. «Мне ставят в вину, что я говорю о Боге, — говорил он, отвечая своим критикам, — умные люди сказали, что у меня нет к этому призвания, что это не мое дело. Но что я должен делать в такое время, когда оно само вынуждает говорить о Боге? Как должен я молчать, если скоро закричат камни? Каждый из нас призван говорить об этом». Эти слова свидетельствуют о подлинно пророческом чувстве обязательства перед божьим заданием и теперь, спустя восемьдесят лет, не удержаться от впечатления, что в Гоголе говорило откровение. Примечательным образом два других великих русских писателя совершенно иного склада пришли к тому же пониманию, как и Гоголь. Спустя три года после появления «Переписки» — этого крика сердечного отчаяния перед миром, захваченным демоницей, — Александр Герцен опубликовал свою удивительную книгу «С того берега» — потрясающий документ души девятнадцатого столетия. Социалистически и радикально настроенный Герцен — атеист и ничего не хочет знать о христианстве; но его диагноз и его прогноз относительно европейского человечества в существенном совпадают с гоголевским. Близкое знакомство с образованным европейским обывателем и опыт революции 1848 года открыли ему глаза на неистинность, духовную ограниченность и лживость гуманистической веры в прогресс. Сам перед собой и перед своими друзьями-единомышленниками он поставил уничтожающий для этой веры вопрос: «Отчего верить

в Бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в царство небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно?» Вера в человечество и прогресс есть не что иное, как пустое и глупое самомнение человека — идолопоклонство, неравноценная замена утерянной религиозной веры. Кто совестлив и разумен, должен стоически спокойно наблюдать за безнадежной театральной игрой бессмысленной человеческой сутолоки в истории. А двадцатью годами позднее третий великий русский ум приходит к познанию той же самой страшной диалектики, которая выстраивается на чистом разуме и на человеческой темноте — атеистическо-религиозном социалистическом мировоззрении, отрицающем христианскую любовь и покорность. В «Бесах» Достоевский изобразил демонию этой веры, которая «начинается с провозглашения всеобщей свободы и завершается установлением всеобщего рабства» — духовное ничтожество и презрение к человеку, которые прячутся за мечтой о земном рае и выступают как одержимость демоническими силами лжи и убийства. Ощущаемая Гоголем незримая темная сила у Достоевского сгущается в легион демонов, который по евангельской легенде превращается в стадо свиней и низвергается в пропасть. Полустолетием позже это видение стало явью в большевизме.

Гоголю принадлежит заслуга почувствовать и изобразить эту демонию нехристианского и противохристианского мира. Уже только эта интуиция говорит о глубине и религиозной значительности этого редкого духа. Религиозные и исторические взгляды Гоголя стояли, как мы сейчас это понимаем, в тесной связи с особенностями его художественной интуиции. С доходившим до болезненности обостренным чувством зла и пошлости в человеческой жизни, демонической силы в мире; в его художественном творчестве соединяется глубоко скрытое, едва заметное на первый взгляд, страстное стремление к спасению. Когда мы читаем неописуемо смешное излияние мыслей заболевшего манией величия маленького чиновника («Записки сумасшедшего»), оконченные захватывающим душу криком «Маменька, спаси меня! Разве ты не видишь, как мучается твое дитя?» или, когда мы сравниваем (в ставшем известном образе) Россию с тройкой, которая дикой рысью летит к неизвестной цели, то чувствуем в этих словах и картинах великую тоску, которая заполняла душу Гоголя. Духовный кризис, который привел его к религиозному обращению, не нарушил внутренней цельности его личности. Он

сам сообщил в «Авторской исповеди», как в своем стремлении к истинному художественному постижению различных человеческих типов он постепенно пришел к поискам сущности души человека и отсюда — к Христу как единственно подлинному знатоку человеческой души. Гоголь — первый представитель характерной существенной черты русской литературы, которая постоянно требует последней, настоящей, безобманной истины и поэтому идет от эмпирического реализма к реализму религиозно-метафизическому. Великий основатель художественного реализма в России одновременно замечательным образом является первым представителем глубокого и трагического религиозного стремления, которым проникнута русская литература. Этой чисто русской тоской было дано Гоголю пророческое постижение грядущей трагической русской и европейской судьбы.

